

ЖИВАЯ ВОДА

К шестидесятилетию со дня рождения Федора Абрамова



его-чего, а дождей на севере хватает. Тут тебе и буйные воскрешающие майские ливни, и парные июльские сеногной, и затяжные морозящие грибные, и беспросветные осенние, перемешанные со снегом и постепенно в него переходящие. А уж снег! К февралю от высоких деревенских огородов иной год только верхушки кольев торчат над сугробами, а суметы и навесы по краям крыши и на береговой крутизне такой плотности и замысловатости, что просто диву даешься: куда до них архитектурным излишеством, творимым человеком! Подправляемые ветрами и метелями, долго и спокойно лежат они, словно и не замечая прибывающего дня, пригревающего солнышка — невозмутимо хранят свое первоначальное достоинство... но уж если затают! Едва проклюнувшийся в десять часов утра капельный ручеек ввечеру гремит водопадом, гулко ухая в выдолбленных за день пещерах, и уже ничего с ним не сделать ночному, еще крепкому, морозцу, — шумит ручей на всю округу, пока не заглушит его треск ломающихся на реке льдин. А через день-другой после ледохода все обширное подугорье займет вода, и черные баньки заоглядываются подслеповато на расплавленные солнцем деревенские окна: мол, красоваться красуйтесь, да помните и о нас в своем благополучии, а то как бы оцять не унесло!.. И восхищенно охают, завидя подплывающих к их черной прокопченности белых-белых лебедя с лебедушкой!..

Спешит-торопится земля оттаять, впитывает в себя молодую мягкую воду-снежицу, пополняя тайные суеки своих глубоких амбаров, чтобы бесперебойно в любое время года журчали неиссякаемые родники (по два-три на одну деревушку!). Захлебнувшись реки потихоньку входят в берега, зримо ускоряя свой бег, замедленный было в разливе. Но как ни торопятся реки, как ни поката, если глянуть на глобус, архангельская земля к Северному полюсу, далеко не вся вода успевает скатиться к Ледовитому океану. Много, ох как много остается ее в сторонке от реки, в низких болотинах, в лесных уренинах и лывах. Живая и вольная, она изначально долго не успокаивается, бродит и вздыхает, бродит и вздыхает, ища привычного и необходимого ей движения, но уже не слы-

шит ее лес, оглушенный веселым гомоном пернатых гостей, не подсказывает тропинки, по какой можно бы ей отсюда выпутаться. Одна остается надежда: на солнце, которое, может быть, припечет и высосет ее изо мха, склубит в облака и тучи, унесет ветром в далекие дали... Но коротко и не жарко архангельское лето: не успели нагреться, а уж солнце нахлобучило шапку, а ночь саданула по цветущей картошке инеем (да другим! да третьим!..), и отодвигается надежда — на будущее лето, и снова — на будущее.

Кто знает, сколько прошло веков, прежде чем безвестный лось, не ведая о своей гениальности, однако ж, гениально забрел, пробрел и выбрел болотиной в еловую чащу, и почти смирившаяся со своей безвыходностью вода заполнила его следы равнодушно, доверчиво и безропотно, как заполняла и раньше тысячи и тысячи других следов. На этот раз свершилось чудо: равнодушная капля перелилась из копытца в копытце, еще раз из копытца в копытце... и почувствовала себя живой — у нее появилось желание и умение переливаться! Она потянула за собой ближайшую соседку, та, очнувшись, — другую... А лось продолжал брести, оставляя за собой незримо покатые следы.

И побежал по следам ручеек, пробивая себе руслице через кочки и завалы бурелома, огибая валуны и песчаные гривы, трясясь и путаясь в лывах; обретал новых соратников и прибывающую силу и чувствовал сзади нарастающий напор, а впереди — неведомое, притягательное, неотвратимое.

На счету реки Пинеги (этот приток мало короче самой Двины) — сотни километров. Совсем близко от Архангельска — рукой подать до моря! — вливается она в Северную Двину. Много всего отразилось в ее струях, немало сердец утешили ее разговоры, да есть и горемыки, что утонули в ней вместе со своим горем — с водой не шутят, на воде — жидко...

Я говорю — о таланте.

Северное население вообще — в силу своей многовековой удаленности от привычных благ цивилизации и сквознячка беспривязности, в силу постоянного напряженного единства-соперничества с суровой природой — население своеобразное. Без

мечты о прекрасном, без претворения этой мечты в дело северному человеку не обойтись. Кружевницы и вышивальщицы, мастера деревянных строений и глиняных поделок, резьбы по кости и чернения по серебру, непревзойденные сказочники и песельники, самобытные творцы выразительного, красочного языка, северяне, однако, не так уж и часто выдвигают таланты как личности, ибо их творчество носит чаще всего характер коллективный, не особо стремясь к выдвигению и обособлению. Но если обособление произошло, миру являлись таланты. Ломоносов. Шубин. Шергин. Писахов. Кривоноленова. Колотилова...

Огромный напор потенции народного духа высоко поднимает своих избранников и несет их буквально на крыльях. Чтобы совладать с этим напором веками накопленных сил, обретающему русло надо быть Настоящей Личностью. Иначе — не довести ему эти силы из глухого застойного болота до моря-океана человеческого самосознания.

Такой Личностью мне представляется писатель Федор Абрамов.

...С замиранием сердца прочла я сначала глазами, а потом, пораженная, повторила вслух первые строчки его книги «Братья и сестры». Случилось это в конце пятидесятих годов, на дальнем колхозном сенокосе в верховьях нашей речки Содонги. Братишка, в то время еще школьник, захватил с собой эту библиотечную книгу вместе с косой и вилами...

«Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сениная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца...

...При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама покосившаяся изба с замшелыми продымянными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варшцы, первобытным оком глянувшее на меня из травы...

Это было — про наше. Про нас. По-нашему.

Мы не могли не поделиться с другими своей радостью.

Ежевечерние чтения вслух у костра собирали в кружок и старых, и малых, и хоть вставать приходилось рано — не позднее шести часов утра, — за книгой засиживались допоздна. Книга будила воспомина-

ния, позволяла взглянуть на себя со стороны, долго не давала уснуть на душных сениных нарах: все, без отбросов, оставалось в душе.

С тех пор каждая новая книга, каждый рассказ Федора Абрамова для нас — праздник. Их — никогда не сладких — ждешь, ищешь, проглатываешь в нетерпении, перечитываешь снова. Живые сегодняшние люди, острые сегодняшние проблемы насыщают его произведения.

Его пристальный, объективный, исследовательский, несуетный, пронизательный взгляд, предугадывающий судьбы, — способен на волшебство.

«Пиньжаки — колдуны».

Эта, пугающая с детства мамина поговорка неожиданно подтвердилась теперь явным волшебством печатных строк настоящего «пиньжака».

В его родной, овейной сказками таинственной стороне, которую Пришвин исходил пешком, я не была ни разу. Всегда казалось: далеко и страшно. Так продолжает казаться и сейчас, хотя много самолетов уходит за день в сторону Пинеги. Да и реки наши — Пинега и Содонга — берут начало из одного болота. Содонга выбегает из него двумя струйками: Летней и Зимней, и, соединяясь, правит прямехонько к югу. Только вдоволь поколесив по цветущим лугам да меж живописными слудами, она, веселая и светлая, многократно и круто изогнувшись, кажется, с огромной неохотой впадает в темную, жутковатую Ергу, которая резко и бесповоротно гонит ее на север и вскоре вливает в Двину. Пинега же сразу берет верное северное направление, и никогда водам моей Содонги не догнать ее серьезного и глубокого течения...

Брат который уже год высказывает вслух давно задуманное, заветное: летом дойти пешком (не в окружную, а напрямик, «рёмом — с рёвом») до истоков нашей Содонги. Я с некоторых пор мысленно добавляю: и добраться по болоту (судя по крупномасштабной карте — всего несколько верст!) до истоков Пинеги. А там (по реке проще простого!) дойти до деревни Верколы, где в эту пору наверняка дома — работающий или отдыхающий ее сын — Федор Александрович Абрамов. Хочется принести ему в берестяном теске воду, взятую из Нашего Болота, чтобы она, как заговорная, как из сказки, «живая», давала неиссякаемую силу его вере, его совестливости, его любви, его жизни, его таланту.